

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	187
<i>Послесловие</i>	378

Часть первая

1

Длинный знойный сирийский день приближался к концу.

Тяжелая жара была почти невыносима. Ядовитое зловоние выделялось от сырых земляных полов европейской тюрьмы, отравляя то малое количество воздуха, которое там было. Внизу, в самых низких ее отделениях царил глубокий мрак; только в отделении, предназначенном для самых тяжких преступников, тонкая струя света настойчиво проникала в глубокую тьму. Это было самое слабое отражение великолепного внешнего блеска восточного неба, но и оно раздражало глаза одинокого узника, на которого падало, заставляя его отвернуться с диким проклятием и стоном. Корчась назад, насколько ему позволяли цепи, он закрыл лицо своими скованными руками, укрываясь от света и кусая губы в беспомощной злобе, пока рот его не наполнился горечью собственной крови.

Он часто подвергался такой бессильной ярости, умственно возмущался и воевал против того яркого луча, который словно мечом резал непроглядную мглу. Он смотрел на этот луч, как на заклятого врага, на вечный источник муки. Он по нему судил о времени: когда луч являлся, он знал, что это день; когда исчезал — наступала ночь. Иного представления о течении времени он не знал. Его существование было не что иное, как длинный ряд глухих страданий, прерываемый порывами

бессильной злобы, которые очень мало его удовлетворяли, оставляя в еще более тупом, животном настроении. Он ни в чем не отдавал себе отчета, разве только в этом ярком луче, который, косо падая на него, ослеплял его и причинял ему страдания. Он мог бы выдержать весь блеск сирийского солнца в открытом пространстве — никто не сумел бы бросить такого смелого взгляда на огненный шар, величественно царивший в лучезарной синеве. Но здесь эта тонкая ослепительно яркая струя, пробивающаяся через узкую щель стены, которая служила единственным проходом воздуха в эту смрадную темницу, — тут она ему казалась воплощением задора и злой иронии. Он беспрестанно жаловался на этот луч, и теперь, корчась на своей подстилке из грязной соломы, с проклятием отодвигался все дальше и дальше в темноту. Он проклинал и Бога, и судьбу, и людей, в ярости ворочаясь на своей соломе. Он был один, но не в полном одиночестве; около того самого угла, где он ежился, как дикий зверь, была железная решетка, единственное отверстие в соседнее помещение, через эту решетку вдруг протянулась тощая грязная рука. После некоторых тщетных движений по воздуху эта рука наконец нашла и потянула край его одежды, а слабый хриплый голос назвал его по имени: «Варавва».

Он обернулся быстрым гневным движением, вызывая печальный, жалкий звон своих цепей.

— Что еще?

— Нас забыли, — простонал голос. — С самого утра нам не приносили пищи. Я умираю от голода и жажды. Я жалею, что когда-либо увидал твоё лицо и вмешался в твои злые замыслы.

Варавва ничего не ответил.

— Помнишь ты, — продолжал его невидимый товарищ, — какое время года у нас нынче в стране?

— Я не слежу за временем! — возразил презрительно Варавва. — Да и что мне во временах года? Год ли прошел или целые года с тех пор, что нас сюда привели, — мне это все равно. А ты разве знаешь?

— Восемнадцать месяцев прошло, как ты убил фарисея, — ответил сосед с заметной злобой. — И не будь этого злого поступка, мы избегнули бы теперешнего несчастия. Истинно говорю тебе; и впрямь удивительно, что мы еще так долго живем, — ведь теперь Пасха.

Варавва не ответил ни слова, не выразил ни удивления, ни сочувствия.

— Помнишь ли обычай Пасхи? — продолжал тот. — Один узник, выбранный народом, должен быть выпущен на свободу! Ах, если бы это был один из нас! Тогда нас было десять, десять лучших людей Иудеи, конечно, кроме тебя! Ведь ты с ума сходил от любви, и все знают, что нет хуже дурака, как разъяренный любовник...

Варавва все молчал.

— Если невинность — заслуга, — продолжал беспокойный голос за решеткой, — то выбор падет на меня. Разве я виновен? Бог моих отцов свидетель, что мои руки не запачканы кровью праведников. Я фарисея не убивал. Немного золота, вот все, что я искал...

— И разве ты его не взял? — вдруг презрительно прервал его Варавва. — Лицемер! Разве не ты ограбил фарисея, взяв у него все до последнего украшения? Тебя сторож поймал, когда ты зубами снимал с его руки золотой браслет, — а он еще дышал! Прекрати свое вранье! Ты злейший вор всего Иерусалима, и ты сам это знаешь!

За решеткой послышался звук вроде рычания, и тащая рука выдвинулась во внезапной ярости и так же внезапно исчезла. Последовало молчание.

— Весь день без пищи! — простонал опять голос. — И ни одной капли воды! Если вскоре не придут, то я, наверное, умру! Я умру в темноте, в этой ужасной темнице.

Тут слабые звуки от страха превратились в визг.

— Ты меня слушай, проклятый Варавва! Я умираю!

— Таков тебе и конец, — ответил равнодушно Варавва. — Теперь каждый, кто имеет золото, может спокойно спать с открытыми дверями!

Опять ворвалаась уродливая рука, на этот раз сжатая в кулак, и своим безобразием как бы служа отпечатком подлого характера ее невидимого владельца.

— Ты демон, Варавва! — И бледная тень искаженного лица и растрепанных волос появилась на минутку у решетки. — Клянусь, я буду жить лишь для того, чтобы увидеть тебя распятым!

Варавва продолжал молчать и отодвинулся со своими шумными цепями подальше от злобного соседа.

Со жгучим чувством боли он боязливо поднял кверху глаза и вздохнул свободно; горящая лучезарная стрела не освещала более темницу, она превратилась в мягкий красный тусклый луч.

— Закат солнца, — пробормотал он. — Сколько раз солнце встало и зашло с тех пор, как я видел ее? Вот час, который она любила. Она со своими девушками пойдет к колодцу, который находится за домом ее отца, и под пальмами будет отдыхать и веселиться, тогда как я... я... О Бог мести! Я никогда больше не увижу ее лица. Восемнадцать месяцев пытки! Восемнадцать месяцев в этой могиле и никакой надежды на избавление!

Он с порывистым жестом встал и выдвинулся. Его голова почти касалась потолка, и он ступал осторожно; тяжелые оковы на его голых ногах резко звенели при каждом движении. Поставив одну ногу на выступ стены, он достиг того, что глаза стали на уровне со щелью, откуда

проникал теплый огненный свет заката; но мало было видно в эту щель. Только огороженная площадка сухой выжженной земли, принадлежащей тюрьме, и одиночная пальма с тянувшейся к небу листвой. Он стал пристально смотреть, стараясь различить далекий туманный очерк гор, окружавших город, но истомленный долгим постом, он не мог удержать своего положения и возвратился в прежний угол. Там он продолжал сидеть, мрачно следя за розовым отлеском, отражавшимся на полу. Этот свет озарял и его лицо, оттеняя нахмуренные брови и темные негодующие глаза, ярко освещал его голую грудь, тяжело подымавшуюся и как бы изнемогавшую от долгой борьбы с голодом, и блестел ярко-медным оттенком на массивных железных оковах, связывающих его руки. Со своими всклокоченными волосами и беспорядочной бородой он был скорее похож на пойманного хищного зверя, чем на человеческое существо. Он был почти не одет. Бедра и живот прикрывал кусок рогожи, подвязанной грубой веревкой. Жара в тюрьме была невыносимая, а все же он время от времени дрожал в этом душном мраке и, опервшись лицом на сложенные на коленях скованные руки, пристально, с упорным взглядом филина, смотрел на красный солнечный луч, который с каждой минутой бледнел, медленно угасая. Сперва луч был ярко-красный: «Как кровь того убитого фарисея, — подумал Варавва со зловещей улыбкой, — теперь же он стал бледно-розовый, как мимолетный румянец красивой женщины». И при этой мысли он всем существом содрогнулся. С затаенным стоном он до боли сжал руки, как бы переживая невыносимое физическое страдание.

— Иудифь, Иудифы! — прошептал он. — Дорогая Иудифы!

И весь дрожа, он повернулся и прижал лоб к сырой и скользкой стене, и остался без движения, напоминая

своей массивной фигурой каменное изваяние. Последний отблеск солнца погас, и темная мгла покрыла все. Ни один звук, ни одно движение не выдавали присутствия человеческого существа в этом ужасном мраке. Изредка только слышался таинственный шорох мышей, быстро пробегающих по полу; потом опять воцарилась глубокая, мертвая тишина...

А небеса облекались во все свое величие. Планеты, пробуждаясь, выплывали в пурпурное пространство и казались водяными лилиями на поверхности воды. На востоке серебряная полоска показывала, откуда вскоре должна была выйти луна. В щель темницы можно было заметить лишь одну звезду. Но позже, когда луна только показалась на горизонте, ни один ее серебристый луч не мог проникнуть в темницу и озарить сочувственным светом жалкую фигуру несчастного узника. Одинокий и невидимый, он боролся с физическим и нравственным недугом, сам не подозревая, что вся стена, на которую он облокачивался, была облита слезами, теми жгучими слезами, подобными каплям крови, которые называются страшной агонией сильного человека.

2

Часы медленно проходили... Вдруг тяжелая тишина была прервана дальним криком. Как внезапный прилив моря, он начался издалека и зловеще гудел... Медленно приближаясь, делаясь все громче и громче, этот шум ударялся о стены темницы и отражался от нее тысячами эхо...

Уже различались голоса, беспорядочное топанье множества ног и лязг оружия. Голоса хрипло спорили, слышны были свистки, и изредка пламя факелов отражалось в темнице, где лежал Варавва.

Внезапно громкий смех покрыл общий гул, и кто-то вскрикнул:

— Пророк, скажи, кто тебя ударил?!

Смех стал всеобщим. Раздался целый хор криков, визгов и гиканья... Потом настал маленький перерыв; дикие крики прекратились, и вместо них послышался спор между двумя или тремя из начальствующих. Опять возобновился гул, медленно проходя мимо тюрьмы и постепенно замирая, как удаляющиеся раскаты грома.

Но пока гул еще стоял, в тюрьме послышалось медленное бряцание цепей, слабый стук скованных рук у внутренней решетки и голос, говоривший раньше, раздался опять: «Варавва!» Ответа не последовало.

— Варавва, слышишь ты проходящую толпу?

Молчание.

— Варавва! Собака, убийца! — и говоривший сильно ударил кулаками решетку. — Что ты — глух к хорошим вестям? Я тебе говорю — мятеж в городе! Может быть, наши друзья торжествуют. Долой закон! Долой тирана-притеснителя! Долой фарисеев! Долой всех! — И он засмеялся; смех же его походил на хриплый шепот. — Варавва, мы будем свободны! Свободны! Подумай, разбойник! Тысяча проклятий тебе! Ты спиши или умер, что мне не отвечаешь?

Но он напрасно возвышал голос и напрасно бил кулаком о решетку. Варавва был нем.

Свет луны, которая уже поднялась до половины неба, покрывал все внутри своим загадочным лучом, так что его фигура была почти незаметна для узника, глядевшего через решетку нижнего помещения.

Тем временем гул толпы потерялся вдали, и изредка только доносился тихий ропот, как дальняя зыбь волн, бьющихся о скалы.

— Варавва, Варавва, — и раздраженный слабый голос вдруг стал сильнее от чувства скрытой злобы. — Ты не

внимаешь хорошим вестям, так слушай же худые! Прослушай! Прослушай твоего друга Ганана, который лучше тебя знает коварство женщин. Зачем ты убил того фарисея? Ты дурак. То был напрасный труд. Его хвастовство была правда, и твоя Иудифь не что иное, как...

Позорное слово, которое он хотел употребить, не было сказано. Равнодушный до сих пор, Варавва внезапно и быстро, подобно разъяренному льву, кинулся к Ганану, схватил его за руки, которые тот просунул через решетку, и стиснул их с такой зверской злобой, что чуть не сломал кости.

— Проклятый Ганан! Собака! Еще раз назови ее имя, и я вырву твои разбойничьи руки и оставлю тебе для воровства одни лишь плечи!

Лицом к лицу, при тусклом лунном свете, почти невидимые друг другу, они боролись некоторое время в бессильной ярости; их цепи, ударяясь о железную решетку, издавали резкий лязг; наконец, со страшным криком боли, Ганан вырвал свои окровавленные пальцы и руки из зверского пожатия и в полном изнеможении упал обратно в темноту своей камеры.

Варавва, тяжело дыша, кинулся на свою солому; каждая его жилка билась и дрожала.

— Что, если это правда, — проскрежетал он сквозь стиснутые зубы, — если на самом деле она мне изменила и вся ее красота только служила маской для ее подлости? О Бог, она тогда в тысячу раз хуже меня и мое преступление пред нею ничтожно!

Он положил голову на распространенные руки и продолжал неподвижно лежать, стараясь разрешить задачу своей собственной натуры, своих страстей, смелых и неукротимых. Но это было так трудно, что понемногу его мысли стали отвлекаться, и он впал в мутное забытье, казавшееся ему сладостным после недавней боли. Его

сжатые кулаки раскрылись, дыхание стало спокойным и, вздохнув глубоко от усталости, он протянулся на соломе во всю длину, как измученная собака, и заснул.

А ночь торжествовала. Луна и звездные планеты спокойно следовали своим законам, и со всех частей земли молитва разной формы и разных верований поднималась к небесам. Молитва о милосердии, прощении и благословении для того человечества, которое не обладало ни милосердием, ни прощением! Потом с волшебной быстротой темные небесные своды превратились в бледно-серые, луна тихо скрылась, и звезды погасли одна за другой, как лампы после празднества...

Воздух посвежел, и утро настало.

Варавва продолжал спать. Во сне он бессознательно повернул лицо в сторону ворвавшегося в тюрьму бледного света, и тихая улыбка заменила суровость прежнего выражения. Пока он так лежал, можно было вообразить, на что походило это дикое, неопрятное существо в юности; была некоторая грация в его позе, несмотря на скованные члены. Над густой нечесаной бородой виднелся рот с нежным изгибом губ, и отпечаток степенной красоты лежал на широком лбу и закрытых глазах. В действительности он был свирепый, не раскаявшийся преступник, но в полном спокойствии сна его можно было принять за невинную жертву жестокой судьбы.

С рассветом необыкновенное движение и шум послышались в наружном дворе темницы. Варавва, усталый до изнеможения, рассыпал шум, не отдавая себе в нем отчета. Потом, так как шум все увеличивался, он нехотя раскрыл глаза и, приподнявшись на один локоть, стал прислушиваться. Вскоре он различил бряцание оружия и мерные шаги людей. Пока он сонно и вяло спрашивал себя, что могло означать это необыкновенное явление, бряцание и равномерные шаги все приближались и, на-

конец, остановились у самых его дверей. Ключ повернулся в замке, огромные задвижки были отдернуты, дверь открылась, и такой яркий свет блеснул, что он невольно поднял руки к глазам, чтобы их защитить, как бы от удара. Мигая, как ночная птица, он привстал, упорно и бессмысленно глядя на то, что было перед ним. В дверях тюрьмы стояла группа блестящих доспехами римских солдат, и во главе их, с факелом в руках, стоял офицер.

— Варавва, выйди!

Варавва смотрел сонно, ничего не понимая. Вдруг раздался визгливый крик:

— Я тоже, я Ганан, я невиновен! Призовите и меня в суд! Будьте справедливы! Не я убил фарисея, а Варавва! Милосердие праздника должно быть для Ганана! Не может быть, что вы возьмете Варавву, а меня оставите!

Никто не обратил внимания на эти возгласы. Офицер лишь повторил свое приказание:

— Варавва, выйди!

Очнувшись окончательно, Варавва, с трудом приподнимаясь, приложил все усилия, чтобы исполнить приказание, но тяжелые цепи ему мешали. Заметив это, центурион отдал приказание своим людям, и несколько минут спустя оковы пали и преступник был окружен стражей.

— Варавва! Варавва! — продолжал кричать Ганан.

Варавва остановился, тупо глядя на солдат, которые окружили его, потом посмотрел на начальника.

— Если вы меня ведете на казнь, — сказал он слабо, — я вас прошу, дайте пищу тому человеку. Он голодал и жаждал весь день и всю ночь, а он был моим другом когда-то...

Офицер взглянул на него с удивлением.

— Это твоя последняя просьба, Варавва? — спросил он. — Теперь Пасха, и мы тебе дозволим все, что благоразумно.

Он засмеялся, и его люди засмеялись. А Варавва пристально смотрел вперед, в его глазах было выражение пойманного зверя.

— Сделайте это из милости, — тихо пробормотал он, — я тоже голодал и жаждал, но Ганан слабее меня.

Опять центурион взглянул на него, но в этот раз не удостоил ответа. Быстро повернувшись, он стал во главе своих людей с Вараввой посередине и вышел из тюрьмы. Следуя по каменным коридорам, солдаты потушили факелы. Ночь прошла, и наступило утро.

3

Войдя во двор тюрьмы, партия остановилась, чтобы дать время открыть тяжелые ворота. Там, по ту сторону ограды, была улица, город, свобода! Варавва, все так же упорно глядя вперед, издал хриплый стон и поднял скованные руки к горлу, как бы задыхаясь.

— Что с тобой? — спросил один из провожатых и оружием толкнул его в бок. — Поднимись, дурак; не может быть, чтобы ветерок мог тебя подкосить, как убитого быка!

А Варавва в самом деле шатался и упал бы совсем, если бы солдаты не подхватили его и не поставили опять на ноги, с руганью и проклятиями. Его лицо покрылось мертвенною бледностью, над беспорядочной бородой виднелись белые губы, вытянутые над стиснутыми зубами, как у покойника. Дыхание его было еле заметно.

Офицер подошел и посмотрел на него.

— Он умирает с голоду, — сказал он коротко, — дайте ему вина!

Приказ был быстро исполнен. Но губы обессиленного узника были стиснуты, и он ничего не чувствовал. Каплю за каплей насилино вылили ему в горло, и ми-

нуты через две его грудь поднялась с глубоким вздохом возвращающейся жизни и глаза широко открылись.

— Воздух! Воздух! — стонал он. — Свободный воздух! Свет!

Он вытянул окованные руки, потом, почувствовав прилив силы от теплоты вина, засмеялся:

— Свобода! — закричал он. — Свобода! Жить или умереть! Не все ли равно? Свободен! Свободен!

— Замолчи, собака! — сказал сердито офицер. — Кто тебе сказал, что ты свободен? Посмотри на твои скованные руки и поумней. Следите зорко за ним, солдаты. Вперед!

Тюремные ворота тяжело за ними закрылись, и равномерное шагание партии вызвало эхо на улицах, по которым они проходили, и в подземном ходе, ведущем прямо в судилище, или зал суда. Этот ход был длинный, каменный, со сводами, освещенный изредка масляными лампами, которые будто еще усиливали глубокую темноту. Мрак и заключение царили там, как и в темнице, и Варавва с новым ощущением страха спотыкался на каждом шагу, стараясь не отставать от равномерного шага его провожатых. Всякая надежда пропала. Чудная идея свободы, промелькнувшая в его уме, теперь исчезла, как сон. Его вели на казнь, в этом он убедился. Какого милосердия мог он ожидать от того, кто, как он знал, должен был его судить и наказать? Ведь Пилат был губернатором Иудеи. А он, Варавва, в минуту злобы убил фарисея, одного из друзей Пилата!

О, да будь он проклят, этот фарисей! Его мягкие манеры, его самодовольная улыбка, его белая рука с блестящим перстнем на указательном пальце и все маленькие детали костюма и осанки, которые выделяли его из среды других людей, — все это вспомнил Варавва с непобедимым чувством отвращения. Он будто опять увидел его, как тогда, когда одним ударом меча он повалил его

наземь. Фарисей страшно обливался кровью, а в лунном свете его глаза казались неестественно открытыми, как от наполнившего их чувства страшной ненависти к убийце. Насильно отнятая жизнь взывает о мести! Варавва это понимал. Только способ смерти, применяемый к тяжким преступникам, страшил его, и каждый его нерв как бы дрожал от предвкушаемых страданий! Если бы, как тот фарисей, он расстался в одну секунду с жизнью, это было бы ничто, но быть растянутым на деревянных брусьях и часами мучиться под лучами жгучего солнца, чувствовать каждую жилу, натянутую до крайности, каждую каплю крови, превращающуюся в раскаленный огонь, а потом в лед, — этого было достаточно, чтобы заставить дрожать даже храброго человека!

И Варавва, ослабленный долгим постом и отсутствием воздуха, так сильно дрожал, что с трудом волочил ноги. Голова его кружилась и глаза болели. В ушах глохло звенело от прилива крови к мозгу и от приближавшегося гула множества диких разъяренных голосов, между коими ему казалось, что он различал свое собственное имя: Варавва! Варавва!

Испуганный, он стал разглядывать лица солдат, окружавших его, но ничего не мог увидеть в их бронзовых неподвижных чертах. Он постарался прислушаться — ему мешали бряцание оружия и равномерное топанье ног. Но вот опять, это уже не обман, опять кричат:

— Варавва, Варавва!

Невольный ужас охватил его. Толпа, жестокая, как и всегда, очевидно требовала его казни и готовилась с радостью смотреть на его пытку. Ничего великолепнее нет для зверской толпы, как физическая агония человеческого существа. Ничто не вызывает такого злорадного смеха, как отчаяние, страдание, последняя борьба несчастной жертвы, приговоренной к долгой, медленной казни.

При мысли об этом крупные капли пота выступили у него на лбу, и, слабо двигаясь вперед, он молча молил о внезапной кончине, о том, чтобы горячая и быстрая кровь проникла с неудержимой силой в какой-нибудь жизненный центр его мозга, и он бы сразу уничтожился и пропал, как камень, падающий в море. Все, все, только бы не подлежать насмешкам и злорадству толпы, идущей на его смерть, как на торжество. Все ближе и ближе становился гул, прерываемый длинными паузами молчания, и во время одного из этих перерывов его путешествие подошло к концу. Круто обходя последний угол подземного хода, ратники вышли на свет Божий; поднявшись на несколько ступеней, они прошли через открытый круглый двор и очутились в огромном зале, разделенном на два квадратных пространства — одно почти пустое, другое наполненное густой толпой, которую с трудом сдерживал в пределах помещения ряд римских солдат с центурионом во главе. При появлении Вараввы с вооруженным конвоем головы обернулись и шепот раздался в толпе, но ни один взгляд — ни любопытства, ни участия — не был брошен на него. Все внимание народа было сосредоточено на более важном предмете.

Предстоял такой суд, какого еще не бывало в человеческом судилище, и такого Узника допрашивали, который не давал еще ответа смертному человеку! С внезапным чувством облегчения Варавва начал сознавать, что, пожалуй, его страхи были неосновательны. Не было никаких признаков, что толпа требовала его казни; заразившись общим духом напряженного любопытства, он насколько мог выдвинул шею, чтобы следить за тем, что происходило. Заметив это, люди, стоявшие перед ним, отодвинулись с заметным отвращением, но он мало обратил внимания на это выражение всеобщего омерзения, так как именно вследствие этого перед ним стало свободно и он мог хоро-